

ВОСПОМИНАНИЯ

Viktor E. Frankl

**Was nicht in meinen
Büchern steht**

Lebenserinnerungen

BELTZ

Виктор Франкл

ВОСПОМИНАНИЯ

Перевод с немецкого



Москва
2015

УДК 82-94(4)
ББК 84(4)-442.3
Ф83

Переводчик Любовь Сумм
Редактор Ксения Чистопольская

Франкл В.

Ф83 Воспоминания / Виктор Франкл ; Пер. с нем. — М. : Альпина нон-фикшн, 2015. — 196 с.

ISBN 978-5-91671-445-6

Жизнь Виктора Франкла, знаменитого психиатра, создателя логотерапии, стала для многих людей во всем мире уроком мудрости и мужества, поводом для вдохновения. В 1945 году он оказался в числе немногих, кто сумел уцелеть в Освенциме. Страшный опыт концлагеря обогатил его профессионально как психотерапевта, и миссией ученого стала помощь людям в поисках смысла жизни. В этой книге Франкл, с присущим ему обаянием скромности, повествует о детстве и юности в Вене, о работе в психиатрической клинике между двумя мировыми войнами, о выживании в концлагере и жизни после войны. Он поясняет свои расхождения с Зигмундом Фрейдом и Альфредом Адлером и уточняет их влияние на логотерапию, приводит множество подробностей о становлении психоанализа и различных его направлений.

Автобиография Виктора Франкла — уникальное свидетельство очевидца главных событий и духовных смятений XX века.

УДК 82-94(4)
ББК 84(4)-442.3

Все права защищены. Никакая часть этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, а также запись в память ЭВМ для частного или публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. По вопросу организации доступа к электронной библиотеке издательства обращайтесь по адресу nylib@alpina.ru.

- © 1995 Quintessenz MMV Medizin Verlag GmbH München
2002 Beltz Verlag • Weinheim Basel
- © Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Альпина нон-фикшн», 2015

ISBN 978-5-91671-445-6 (рус.)
ISBN 978-3-407-22757-7 (нем.)

СОДЕРЖАНИЕ

Родители	9
Детство.....	19
Разум... ..	28
...И чувство	31
Остроумие.....	37
Хобби	47
Школа.....	54
Расхождение с психоанализом.....	57
Психиатрия: выбор профессии	61
Влияние врача	67

Философские вопросы	69
Вера	71
Столкновение с индивидуальной психологией	76
Начало логотерапии	83
Теория и практика: консультирование молодежи	90
Годы учения врача	97
Аншлюс	102
Борьба против эвтаназии	110
Выездная виза	114
Тилли	118
Концлагерь	125
Депортация	129
Освенцим	132
О «коллективной вине»	142
Возвращение в Вену	145
О писательстве	152

Отклики на книги и статьи	155
Знакомство с философами	158
Выступления по всему миру.....	160
О старости.....	169
Аудиенция у Папы	171
Страдающий человек	175
Послесловие.....	180
Примечания.....	182
Библиография.....	192

РОДИТЕЛИ

Моя мать происходила из патрицианского, давно осевшего в Праге рода: немецкий поэт, пражанин Оскар Винер¹, чей образ Мейринк² увековечил в «Големе», приходился ей дядей. Я видел, как Оскар, давно уже лишившийся зрения, умирал в лагере Терезиенштадт. Следует уточнить, что моя мать вела свой род от Раши³, который жил в XII веке, а также от «Махаралья»⁴, прославленного пражского рабби Лёва. А стало быть, и я происхожу в двенадцатом поколении от «Махаралья». Все это обозначено на генеалогическом древе, на которое я однажды имел возможность бросить взгляд.

А на свет я чуть было не появился в знаменитом венском кафе «Зиллер». Именно там мою мать настигли первые схватки прекрасным весенним воскресным днем 26 марта 1903 года. Мой день рождения совпал с днем смерти Бетховена, и это позволило некоему однокласснику ехидно заметить: «Беда не приходит одна».

Моя мать была добрейший, сердечнейший человек — не знаю, отчего я оказался надоедливым и капризным ребенком, как мне потом частенько напоминали. Малышом я мог уснуть, лишь когда она пела мне в качестве колыбельной «Куда пропали все цветы?» — причем в слова я не вслушивался. Мать рассказывала, что пела ее так: «Уснешь ли ты, меня замучил ты — куда пропали все цветы?» Мне требовалась только мелодия.

К родительскому дому я чувствовал столь сильную привязанность, что ужасно страдал от ностальгии в первые недели, месяцы, а потом и годы, когда мне приходилось оставаться на ночь в различных больницах, куда я получал назначение. Поначалу я непременно старался переночевать у родителей раз в неделю,

потом раз в месяц и, наконец, хотя бы на свой день рождения.

После того как отец умер в Терезиенштадте и мы с матерью остались одни, я взял за правило всякий раз, здороваясь с ней и прощаясь, целовать ее: в любой момент могла наступить разлука, и я хотел быть уверен, что простились мы хорошо.

И когда дело дошло до того, что меня с первой моей женой Тилли повезли в Освенцим и мы с матерью расстались, я в последнюю минуту попросил ее благословения. Никогда не забуду, как она с воплем, исходившим из самой глубины души — страстным, отчаянным воплем, — ответила мне: «Да, да, я тебя благословляю», — и дала мне благословение. Оставалась неделя до того, как ее в свой черед транспортировали в Освенцим и там сразу же умертвили газом.

В лагере я постоянно думал о матери и когда пытался вообразить себе нашу встречу, мне представлялось, словно что-то неопровержимое, будто единственным уместным жестом будет, как это красиво описывается, пасть на колени и поцеловать подол ее платья.

Мать, как я уже говорил, была доброй и сердечной, а характер моего отца составлял крайнюю ей противоположность. Отец отличался спартанским отношением к жизни и таким же понятием о своем долге. У него имелись принципы, и он всегда был им верен. И я такой же перфекционист, так им и воспитан. Меня и старшего брата отец принуждал в пятницу вечером читать молитву на древнееврейском, и если мы, что с нами частенько случалось, допускали хоть одну ошибку, то наказания за это не полагалось, однако не причиталось и награды. Награда следовала нам лишь в случае, если мы читали весь текст с начала до конца без единой погрешности. Премия в десять геллеров — но удавалось это однажды или дважды в год.

Характер моего отца можно было бы назвать не только спартанским, но даже стоическим, если бы не периодические вспышки необузданного гнева. В одном из таких приступов он сломал, избивая меня, то ли трость, то ли альпеншток. Тем не менее я всегда видел в нем образец справедливого человека, и он внушал всем нам чувство полной защищенности.

В общем и целом я удался больше в отца, но те черты, которые я, по-видимому, унаследовал от матери, вступили в структуре моего характера в противоречие с тем, что мне досталось от отца. Однажды меня обследовал специалист из психиатрической клиники при Университете Инсбрука. Предложив мне тест Роршаха, он затем сказал, что ни с чем подобным за всю свою практику не сталкивался: столь сильное противоречие между крайней рациональностью, с одной стороны, и столь глубокой эмоциональностью — с другой. Первое я, очевидно, получил от отца, второе от матери — так я предполагаю.

Мой отец был родом из Южной Моравии, которая в ту пору входила в состав Австро-Венгрии. Сын неимущего переплетчика голодал все годы учебы на медицинском факультете и, получив диплом, вынужден был сдать экзамен и ради заработка поступить на государственную должность. В итоге он дослужился до директора департамента по министерству социального попечения. Прежде чем господин директор скончался в лагере Терезиенштадт от голода, как-то видели, как он пытается на-

шарить в пустой бочке остатки картофельной шелухи. Поскольку нас из концентрационного лагеря Терезиенштадт перевели сперва в Освенцим, а затем в Кауферинг, где мы чудовищно голодали, я вполне понимаю отца: там и я однажды отодрал от земли жалкий очисток картошки — ногтями.

Некоторое время отец исполнял должность личного секретаря при министре Йозефе-Марии фон Бернрайтере⁵. Министр в ту пору писал книгу о реформе исправительных заведений и о личном опыте в этой области, который он приобрел во время поездки в Америку. Он пригласил отца (тот десять лет проработал стенографистом в парламенте) в свое имение или замок в Богемии и там надиктовывал ему рукопись. Однажды министр заметил, что мой отец постоянно отказывается от приглашения к столу, и спросил его о причинах отказа — отец пояснил, что ест только кошерное. Наша семья вплоть до Первой мировой войны действительно соблюдала кашрут. Тогда министр распорядился дважды в день посылать экипаж в близлежащий городок и доставлять оттуда

кошерную пищу, чтобы его секретарь не жил только на бутербродах с сыром.

Начальник отдела в министерстве, где служил в ту пору отец, поручил ему вести протокол какого-то заседания, но отец отказался, поскольку на тот день выпал главный еврейский праздник, Йом-Киппур. В этот день положено соблюдать пост от звезды до звезды и молиться, а работать, разумеется, нельзя. Начальник отдела угрожал дисциплинарным взысканием, однако мой отец категорически отказался нарушать религиозный обычай и действительно подвергся наказанию.

В целом отец был человеком верующим, хотя и не лишенным критической жилки. Немногого ему недоставало, чтобы сделаться первым иудеем-либералом в Австрии и представителем того течения, которое чуть позднее в США получило название «реформистский иудаизм». И если выше я сократил разговор о принципах отца, то здесь я кое-что добавлю о его стоицизме: когда мы шагали с вокзала Богушовице в лагерь Терезиенштадт, он сложил уцелевшие пожитки в большую шляпную коробку и закинул поклажу себе за спину. Во-

круг многие паниковали, он же разок-другой сказал: «Гляди веселей, Господь не оставит своих детей». Это он говорил с улыбкой. Вот, пожалуй, и все об унаследованном мной от родителей характере.

Что же касается предков по отцовской линии, они, вероятно, происходили из Эльзас-Лотарингии. Когда Наполеон в одном из походов захватил родной город моего отца в Южной Моравии (на полпути между Веной и Брно), один из расквартированных в городе гренадеров стал расспрашивать, не проживает ли здесь такая-то семья, и нашлась девочка с этим именем. Гренадер поселился в ее семье и сообщил, что прежде размещался в Эльзас-Лотарингии и тамошние хозяева просили его разыскать их родичей и передать им привет. Наши предки переселились примерно в 1760 году.

Среди контрабанды, которую мне удалось протащить в Терезиенштадт, была и ампула морфия. Эту дозу я ввел отцу, когда глазами врача увидел, что развивается терминальный отек легких, то есть ему предстоит заведомо проигрышная предсмертная борьба

за каждый глоток воздуха. Отцу исполнился 81 год, он долго недоедал, и все же, чтобы прикончить его, понадобилась повторная пневмония.

Я спросил его:

— Ничего не болит?

— Нет.

— Ты чего-нибудь хочешь?

— Нет.

— Что-нибудь сказать напоследок?

— Нет.

Тогда я поцеловал его и ушел. Я знал, что живым больше его не увижу, но дивное чувство охватило меня: я исполнил свой долг. Из-за родителей я остался в Вене, а теперь проводил отца в последний путь, избавив его от бессмысленных мучений.

Мать оплакивала его, и в это время ее навещил чешский раввин Ферда, хорошо знавший моего отца. Я присутствовал при разговоре: Ферда, утешая вдову, сказал ей, что покойный был цадиком, то есть праведником. Значит, я не ошибался в детстве, считая главным свойством его характера справедливость, но его чувство справедливости проистекало из глу-

бокой веры в божью справедливость. Иначе он бы не выбрал в качестве девиза те слова, которые я так часто слышал из уст: «Да будет воля Его».

ДЕТСТВО

Вернемся к исходному пункту, к моему появлению на свет. Я родился в доме 6 по Чернингассе, и, если не ошибаюсь, как-то раз отец говорил, что напротив, чуть наискось, долгое время жил доктор Альфред Адлер, основатель индивидуальной психологии. Итак, место рождения третьей Венской школы психотерапии, логотерапии, оказалось поблизости от второй, индивидуальной психологии Адлера.

А если пройти немного по другой стороне того же квартала, по Пратерштрассе, то вот он — дом, где был положен на музыку неофициальный гимн Австрийской империи,

вальс «Голубой Дунай» — самим Иоганном Штраусом.

Итак, логотерапия родилась в том же доме, где и я. Но книги я писал уже на квартире, где так и живу после возвращения в Вену. В моем кабинете имеется полукруглый эркер, где я в муках рожаю свои книги, и по аналогии с родильной палатой я обозвал его «родильной полупалатой».

Вероятно, отец был доволен, когда я уже в три года принял решение стать врачом. Самой романтичной в пору моего детства считалась профессия юнги или офицера, но я легко объединял этот идеал с мечтой о медицине, воображая себя то военным, то судовым эскулапом. Однако исследовательская работа с ранних пор сделалась для меня привлекательнее, чем практика. Я и сейчас вижу картину, как в возрасте четырех лет растолковываю маме: «Я понял, мама, как люди изобрели всякие лекарства: велели, чтобы те, кто тяжело заболел и хочет умереть, собрались, и им стали давать по-пробовать все подряд — и ваксу, и керосин. И если они после этого оставались живы,

то вот и правильное лекарство от болезни». А критики ставят мне в упрек, что я слишком мало места отвожу эксперименту!

Тогда же, в четыре года, я однажды вечером незадолго до сна перепугался, потрясенный мыслью, что когда-нибудь и мне предстоит умереть. Но к творчеству меня всю жизнь побуждал отнюдь не страх смерти, а вот какой вопрос: не уничтожается ли быстротечностью жизни сам ее смысл. Ответ же на этот вопрос, ответ, полученный в результате нелегкой борьбы: во многих отношениях именно смерть и придает жизни смысл. И, прежде всего, преходящее бытие отнюдь не лишено смысла уже по той простой причине, что в прошлом ничто не теряется безвозвратно, а напротив, вовеки сохранно. Преходящее не может затронуть прошедшее: прошедшее уже спасено. Все, что мы сделали, что сотворили, что узнали и пережили, все скрывается в прошлом, и никто не в силах истребить это.

Мальчишкой я горевал оттого, что в Первую мировую войну не удалось осуществить два заветных желания: я бы хотел сделаться скаутом, а еще мечтал о велосипеде. Зато сбы-

лось то, о чем я и подумать не осмеливался: среди многих сотен парней, гулявших в городском парке и принимавших участие в тамошних забавах, именно я смог «завалить» признанного силача, причем не как-нибудь, а «захватом шеи сверху».

Смолоду мне очень хотелось написать небольшую историю. Сюжет был задуман такой: некий человек повсюду лихорадочно разыскивает потерянный блокнот. Наконец блокнот ему возвращают, однако добросовестный нашедший просит объяснить, что означают забавные краткие записи в нем. Выясняется, что это пометки о «приватных праздниках» владельца блокнота — дни, когда ему особенно повезло в жизни. Например, под 9 июля запись «вокзал в Брно». Что это значит? Много лет назад в этот день родители на минуту оставили двухлетнего малыша без присмотра, и тот сполз с платформы на рельсы и устроился прямо под колесом поезда. Лишь когда прозвучал сигнал к отправлению и родители оглянулись, они поняли, что произошло. Отец успел подхватить сына с рельс в тот самый миг, когда по-

езд тронулся. Вот повезло так повезло! Благодарение Богу за чудесное спасение — ведь тем ребенком был я!

Чувство безопасности в детские годы простекало, разумеется, не из философских размышлений или внушений: его дарила мне сама обстановка, в которой я рос. Мне было, наверное, пять лет (это детское воспоминание я считаю образцовым); я проснулся солнечным утром на даче в Хайнфельде, охваченный невыразимым чувством счастья, блаженства — открыл глаза и увидел над собой улыбку отца.

Еще пара слов о сексуальном развитии. Я был еще мал, когда вместе со старшим братом во время семейного пикника в Венском лесу наткнулся на пакет с карточками — с откровенной порнографией. Мы оба не удивились и не возмутились. Мы даже не поняли, почему мама так поспешно вырвала у нас из рук эти снимки.

Позднее — когда мне было лет восемь — все относящееся к сексу окуталось дымкой тайны. Инициатива исходила от нашей служанки, бойкой и глупой: она взялась просвещать нас

с братом и вместе, и поодиночке: разрешала раздевать ее ниже пояса догола и играть с ее гениталиями. Например, она укладывалась на пол, прикинувшись, будто крепко спит, и таким образом поощряла нашу мальчишескую возню, а затем всякий раз строго-настрого запрещала рассказывать родителям — это, мол, тайна только для нас троих.

Годами, стоило мне что-то натворить — не по этой сексуальной части — и эта служанка повергала меня в дрожь, грозя пальцем и приговаривая: «Вики, веди себя хорошо, не то выдам маме секрет». Этих слов было достаточно, чтобы держать меня в безоговорочном подчинении, пока однажды я не подслушал, как мама ее спросила: «Да что за секрет-то?» — и та ответила: «Да ничего особенного, он стащил мармелад». И не зря она опасалась, как бы я сам не проболтался, — ее тревога имела под собой основания.

Я вполне отчетливо помню день, когда сказал отцу: «Правда же, папа, я тебе не говорил, что Мария вчера ездила со мной кататься на карусели?» Таким образом я думал доказать свою надежность! Нетрудно себе представить,

как в один прекрасный день я бы спросил: «Правда же, папа, я тебе не говорил, что вчера я забавлялся с гениталиями Марии?»

Достаточно скоро мне сделалась ясна взаимосвязь между сексом и браком — задолго до того, как я осознал связь между сексом и деторождением. Кажется, в одном из первых классов средней ступени я уже задумался о том, как бы мне, женившись, избавиться от привычки засыпать по ночам или хотя бы научиться засыпать не так быстро, ведь я же пропущу самое лучшее, то, что называют «спать с женщиной». «Неужели взрослые настолько глупы, — размышлял я, — что они в это время спят, упуская такое наслаждение? Уж я-то буду вкушать его, бодрствуя», — обещал я себе.

В другом загородном доме, в Поттенштайне, воспитательница подружилась с моими родителями и потому часто общалась с нами, детьми. Меня она прозвала «мыслителем» — вероятно, потому, что я беспрерывно задавал ей вопросы. Я все время хотел что-то узнать. Однако спрашивал я не потому, что был такой уж великий мыслитель, — я бы предпочел

быть не великим, но *последовательным-до-конца-мыслителем*.

Не знаю, можно ли назвать одну мою привычку философской — во всяком случае, то было самопознание в лучших сократических традициях: в юные годы я завтракал (точнее, пил кофе) в постели, а затем еще несколько минут тихо лежал и размышлял о смысле жизни и, в особенности, о содержании наступающего дня — вернее, о том, какой смысл он имеет *для меня*.

И тут вспоминается событие уже из поры заключения в лагерь Терезиенштадт: некий пражский доцент вздумал проверить IQ нескольких своих коллег, и мой интеллектуальный коэффициент оказался существенно выше среднего. В ту пору меня это сильно удручило, ибо я говорил себе: кто-то другой мог бы с таким умом чего-то добиться, а у меня уже нет шансов с пользой применить свой интеллект, ведь я так и умру в лагере.

И раз уж мы заговорили об интеллекте: меня всегда веселило, если кто-то озвучивал идею, которая прежде уже приходила мне в голову. Веселило, а не огорчало, потому

что я рассуждал так: этому человеку пришлось помучиться, писать, готовить публикацию, а я-то безо всякого лишнего беспокойства знаю, что уже сделал точно такое открытие, как то, которым прославился тот или другой специалист. Я бы не огорчился даже, если бы за мои идеи кто-нибудь получил Нобелевскую премию.

РАЗУМ...

Будучи перфекционистом, я предъявляю завышенные требования прежде всего к себе самому. Это, разумеется, вовсе не означает, что я всегда соответствую своим требованиям, но когда мне это удастся, именно этим объясняются мои успехи, насколько у меня таковые были. И если меня спрашивают, как я сумел чего-то в жизни добиться, я неизменно отвечаю: «Дело в том, что я соблюдаю принцип: любые мелочи исполнять столь же тщательно, как и самое великое дело, и самое великое дело — с тем же спокойствием, что и самое незначительное». То есть когда я собираюсь подать во время дискуссии всего

одну-две реплики, я продумываю их заранее и готовлю конспект. И когда предстоит выступать с лекцией перед тысячами слушателей, я тоже готовлюсь заранее и составляю конспект, и все это — столь же выдержанно, как собираясь сделать несколько замечаний на семинаре в присутствии десятка знакомых.

И еще одно: я делаю все не к крайнему сроку, но по возможности заранее, и тем самым предотвращаю двойное напряжение — когда у меня и так много работы, чтобы помимо бесчисленных дел на меня не давил еще и страх не успеть. И третий принцип: не только стараться сделать все заранее, но еще и начинать с самого неприятного, то есть поскорее от него избавляться. Разумеется, не всегда удастся следовать своим же принципам и правилам. В молодости, работая врачом в неврологической больнице в замке Марии-Терезии и в психиатрической клинике на Штайнхофе, я проводил воскресенья в варьете. Мне это очень нравилось, однако оставался неприятный осадок, ведь в выходной следовало бы сидеть дома, записывать свои мысли и готовить статьи.

После концлагеря все изменилось. С тех пор в выходные я диктовал свои книги! Я научился экономить время. Да, я стал расходовать его очень скупно — но лишь потому, что хочу потратить время на осмысленные занятия.

И все же должен признаться: и до лагеря, и после я изменял порой своим правилам. Разумеется, потом я страшно сердился на самого себя, так сердился, что порой по нескольку дней сам с собой не желал разговаривать.